



ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА СИНЯВИНЕ

Очерк «Четыре дня на Синявине» был написан Г.А. Соловьевым (1918 – 2003) спустя полвека после войны для своей любимой внучки Машеньки, в апреле 1991 года. Материал предоставлен для сайта МГУ имени М.В. Ломоносова, копирование или публикация этого материала на других сайтах или в печатных изданиях возможна только с письменного разрешения наследников автора.

Когда мне в Наркомпросе (это было в октябре 1942 года) предложили место учителя на выбор либо в Тульской, либо в Ленинградской области – в первой посылтнее, во второй люди лучше, – я выбрал Ленинградскую. Приехав в село Любытино, первым делом пошел к военкому – думал, что тут же заберут в армию и пошлют в славный осажденный Ленинград.

Военком читал газету "Известия". Молча выслушал меня, записал мои данные на той же газете и отпустил. А я весь учебный год учительствовал в Любытинской средней школе и потом был пионервожатым в лагере для голодающих детей.

В конце июня мне попался на столбе листок о призыве в армию. Там назывался и мой год рождения, и я пошел в призывную комиссию. Сидевшие за длинным столом майоры и капитаны очень удивились: ни в каких списках меня не было, – и заподозрили что-то неладное. "Нигде не прятался, – ответил я на осторожные вопросы, – у всех на виду работал в школе, состоял на учете в райкоме комсомола, читал лекции районному партактиву и вот явился к вам!" И я напомнил военкому, как он записал мои данные на газете "Известия". Начальники посоветовались и направили меня в Ленинград своим ходом с напарником – что-то где-то стащившим парнем цыганистого вида.

Снимая меня с учета, секретарь райкома комсомола пожал мне руку и сказал: "В армию мы отправляем лучших!" Я посмотрел на его упитанную самоуверенную физиономию и подумал про себя, что остаются, стало быть, худшие.

Мы с моим наивным парнем дружно доехали до Кобоны, там какому-то старшине поливали капустную рассаду, натканную в сухую землю, жидким фекалием (по-моему, для растений смертельным), а через три-четыре дня меня присоединили к очередной команде (парень остался поливать капусту), переправили через Ладогу на тихой посудине, и я попал в Ленинградский запасной полк у Финляндского вокзала.

Не буду рассказывать, как я осваивался с тыловыми армейскими порядками, унижительными для простого солдата. Недаром бывалые из них стремились из запасных полков на фронт. Заросший седеющей щетиной старшина, придирчивый и особенно ненавидевший в солдате высшее образование, заставлял нас с солидным студентом Академии художеств мыть затоптанные полы и загаженную уборную. Старший лейтенант Тишов, приводивший красоток и боявшийся отправки на передовую, по привычке покрикивал на нас. Но встретился мне и другого склада человек – вылитый Василий Теркин, как он изображен Верейским на обложке книжки Твардовского. С ним, старшим сержантом, мы патрулировали на Финляндском вокзале, и я удивлялся, как ловко носит он нелепую военную форму. "На тебе форма, – возвращал он мне комплименты, – как на корове седло!" Меня он необходимо опекал, службу справлял легко и снисходительно, как понятную иронию времени, бессильную принизить его личную самостоятельность. Дружбе нашей, однако, скоро пришел конец: из запасного полка "подмели" всех, кто там задержался. Мою партию, как стало ясно из разговоров бывалых солдат, направили сначала в Токсово (там мы выстрелили по три патрона из боевой винтовки), а потом – на берег Ладоги напротив села Синявина, этой одной из нескольких знаменитых ленинградских «мясорубок».

Выгрузились вечером, и бывалые мужики построили из хвороста и дерна землянку, впустив туда строго только участников этой работы. Я старался не отставать и тоже переночевал в душном, теплом и сыроватом логове, где спали на земляных нарах, застланных дерном, вплотную друг к другу и поворачивались на другой бок по команде.

Утром нас построили в шеренгу, и перед пестрой, разномастной линией молодых парней и пожилых мужиков загарцовал на рыжем коне красивый в новенькой форме полковник. Бодрым, раскатистым голосом он объявил нам, что пойдём мы на село Синявино и что все мы оттуда не вернемся! Неярко светило сентябрьское солнце в этот тихий день, и словам полковника не верилось. Нас переписали, разделили на взводы, выдали оружие и боеприпасы. Я оказался в тройке минометчиков – был тогда еще на вооружении ротный минометик, в просторечии "лягушка", впрочем, достаточно увесистый.

Все мы трое – парень лет двадцати пяти Вася Куршин, мужик с пшеничными повислыми усами и унылым носом (звали его Федор, фамилия не запомнилась) и я – ничего не знали об этом грозном оружии. Пришлось идти к начальству, и нам дали руководство, по которому мы и разобрались в несложной технике нашего "ствола".

Не знаю, потому ли это было, что полковник объявил нас всех смертниками, или просто по естественному желанию идти на передовую не беспомощными, но солдаты требовали от командиров хотя бы наскоро показать им, как обращаться с оружием, и тут опять взялись за дело бывалые мужики. Куда-то в кусты бросили противотанковую гранату,

хотя разрыв ее мог нарушить скрытность нашего появления. Пулеметчики сгрудились вокруг своей машины. Мы, освоившись, распределили роли со своей.

Со стороны, наверно, мы выглядели странной тройкой. У Васи Куршина было обыкновенное круглое лицо, безбровое, курносое, с маленькими светлыми глазами, держал он себя добродушно, доброжелательно и деликатно. Мужик Федор был небольшой и весь какой-то внутренне обреченный, – делал все, что ему скажут, сам не проявляя никакой инициативы. Не знаю, каким выглядел я, но, думаю, типичным "очкариком"; впрочем, мне не приходило в голову чиниться своей образованностью – здесь она была просто ни к чему, и я чувствовал себя где-то далеко позади все умевших мужиков.

К вечеру нас построили по ротам, и тут оказалось, что нашего молодцеватого чернявого лейтенанта схватила язва, – его спешно заменили маленьким невзрачным старшим лейтенантом; у того была громкая фамилия – Корчагин, и язвы у него не было. Вдохновленные этим обстоятельством, мы двинулись через болото уже в сгустившейся темноте.

Тропа была узкой, иногда с настилом из кольев и жердей; шли гуськом, и стоило оступить, как нога проваливалась на всю ее длину. Один раз и мне пришлось вылезать из такого провала, имея на себе груз не меньше пятидесяти килограммов. Вылезал сам – солдаты молча шли и не останавливались.

Сначала вдалеке, а потом все ближе вспыхивали белые и реже разноцветные ракеты. Небо над очертаниями голых холмов при этом тусклом свете становилось фантастическим, каким-то марсианским (именно это слово тогда пришло мне в голову), и впечатление утверждалось далеким рокотом и гулом, доносившимся оттуда. Там в пустой тьме разряжалась мертвая, зловещая, неземная гроза, и двигаться к ней было странно и жутко.

По хлипким жердям перейдя через топь, мы наконец оказались у довольно высокого холма. Это был КП нашего полка. Здесь мы набрали в мешки свои увесистые мины и уже перед рассветом двинулись на передовую через проход в горе.

Узкая траншея выбралась на ровное место, затем углубилась (под ногами захлюпала жидкая грязь), опять стала сухой, повернула налево, направо, и мы подошли к землянке. Наш Корчагин остался в ней, и больше его не видели, а мы рассыпались по мелкой траншее, идущей от землянки куда-то дальше. Это и была передовая: справа против нас в траншеях сидели немцы, слева через низинку на высотке расположились наши артиллеристы и минометчики.

В подробностях мы увидели все это после, а сейчас передо мной сидел молодой и в предутренних сумерках красивый солдат со светлыми усами. Он не сразу понял, что мы их сменяем, а когда до него дошло, обрадовался и огорчился. "Не поверишь, друг – схватил он меня за руку, – все в наступлении и в наступлении с самого начала, и хоть бы где зацепило!

Хоть бы месячишко передохнуть на госпитальной койке!" – Перед нами, выходит, было наступление, крупный бой, перемесивший траншею, – она стала неглубокой, и мы, пока еще не развиднелось, стали ее углублять.

Вместо Корчагина бегали двое взводных – длинноногие младшие лейтенанты. Они расставляли народ, распоряжались, но каждая группа и так принялась за свое дело. Кроме рытья траншеи во весь рост, обновили лисьи норы – боковые пещерки для спанья и на случай минного обстрела; пулеметчики устроили боевую позицию для своего "максима"; мы с Федором сделали гнездо для миномета и мин, а Вася Куршин, ни слова не говоря, выкопал индивидуальную ячейку, из которой мог стрелять через окошечко, огражденное щепками, чтобы оно не засыпалось песком.

Села Синявина – не было. Была неровная голая земля с редкими крупными камнями на ней – скорее всего от фундаментов, и на нейтральной полосе торчал один высокий пенёк – оставлен был ориентиром для пристрелки с обеих сторон. Здесь, когда роешь в песчаном грунте, преследует неотвязный запах мертвечины, а иногда натыкаешься на труп, на железную кровать или металлическую утварь – остатки боев и деревни, похороненные на глубину человеческого роста в перемесившемся песке.

По нейтральной полосе порой – казалось, медленно – текли наперерез друг другу немецкие трассирующие пули, и стало ясно, что зря высовываться не стоит.

Когда устроились, надо было ходить за пищей и боеприпасами на КП по той же кривой траншее. С пустыми термосами за спиной нам с бесшабашным напарником не захотелось спускаться в грязную траншею, мы пошли рядом по завялой траве, и тут же стали шлепаться вокруг нас беглым огнем легкие мины. Невольно смеясь, мы попрыгали в мокрую канаву. Ноги там ощущали странную полумягкую почву, и на обратном пути, склонив голову пониже, я разглядел, что в вонючей жиже лежали солдатские безголовые трупы – головы разнесло взрывными пулями. Вот что грозило и нам! Впрочем, немцы, уважая пищу, в нагруженных тяжелыми термосами солдат не стреляли.

Настоящая передовая, в отличие от марсианской картины издали, не представлялась страшной: в ней все было обыкновенное, даже трупные запахи и сами трупы в траншейной грязи. Бывалые солдаты говорили, что страх приходит после первого ранения, а пока человек цел, он не чувствует опасности нутром. Так или нет, но был случай с неким Финкельштейном. Он говорил, что болен малярией. Мне поручили вывести его на КП, и я видел, что его в самом деле треплет болезнь – настоящая лихорадка или психическая, но бьет жестоко. Он шел не нагибаясь – ему было все равно, лишь бы скорее конец. Грубой руганью пришлось заставить его нагибаться. Не знаю, что было с ним дальше, но психическое напряжение здесь доходит до какой-то тупости самосознания, приглушенности

всех чувств, и беда, если они вырвутся наружу – наступит непобедимая дрожь и охватит слепой ужас. Может быть это и случилось с парнем.

По той же траншее мы натаскали побольше мин в запас, протерли нашу "лягушку", прочистили карабины. Наши соседи пулеметчики устроились так, что оба умещались с ногами в своем гнезде возле "максима". Остальные бойцы разбрелись по глубокой теперь траншее. Ночевали в лисьих норах, чутко прислушиваясь к ночным звукам и изредка задремывая.

Вот за немецкими траншеями заскрежетал "ишак", он же "скрипун" – шестиствольный миномет, и высоко над нами пролетели, нежно курлыкая, его мины в сторону наших артиллеристов. Вот прострочил пулемет, и мы уже не выглядывали, чтобы посмотреть на трассирующие пули. Немцы регулярно простреливали темноту. Освещалась ночь ракетами тоже с той стороны. Наша передовая ночевала молча.

Холодно ночью не было – нам выдали бушлаты, а заморозки еще не начинались, не было и дождей, хотя наступала последняя неделя сентября.

Так мы прожили три дня, будто были не там, куда люди идут убивать и быть убитыми. Если приходится убивать, то чтобы жить, – вот чего не понимал наш полковник. В его напыщенной тираде сказался уже тогда всюю действовавший принцип – весь поднявшийся на врага народ должен умереть за Родину и еще за одного человека. И тот человек посылал на заведомую смерть, как был послан на лед Чудского озера "в обход" полк вместо нашего, не успевшего сформироваться, и немцы его с берега расстреляли, вернулся один солдат.

Но то было после (впрочем, всего через четыре месяца). А сейчас, ранним утром четвертого дня, еще в темноте, наша траншея стала наполняться вооруженными бойцами. Их выстроили цепочкой вдоль траншеи, и мы узнали, что немцы в девять часов пойдут в атаку, а этим солдатам предстоит упредить немцев.

В сумерках стало видно: они – нестроевые, случайные вояки, собранные из обозов и подсобных служб.

В восемь часов они, понуждаемые командирами, нестройно повылезли на бруствер и побежали вперед в неведомую им жуть. Было уже светло, но тотчас вся нейтральная полоса покрылась сверкающей сеткой трассирующих пуль. «Мама!» – донесся оттуда крик, такой дикий здесь. Фигуры залегли или полегли – не разберешь, некоторые отползали назад. Перед ними взметнулась стена взрывов, – немцы бросили ручные гранаты.

Чуть не на меня с бруствера вдруг свалился длинный солдатина с гайдуцкими черными усами, выпрямился и стал не глядя неистово стрелять, закидывая винтовку через голову на бруствер. Я не понял, почему пули сыплются во все стороны, выглянул и увидел: мужик палит прямо в большой камень перед собой, а от него

летят каменные брызги.

– Что ты делаешь, дурак! – закричал я и дергал его за руку. Он выстрелил еще два раза и только тогда опомнился.

Наша атака захлебнулась. Оставалось ждать немецкой, а перед ней – артподготовки, то есть обстрела траншей, в которых сидят солдаты, из орудий и больше всего – из минометов.

И артподготовка началась.

Как и другие, я сжался в лисьей норе и всем телом чувствовал, как мины молотят нашу траншею. Ногти сами воткнулись в ладони, мысль тупо соображала, что не успею ничего понять, если мина разорвется у моей норы; все мускулы напряглись до предела, кровь, казалось, застыла и сердце остановилось. Минуты длились вечно. И я не сразу поверил вдруг наступившей тишине.

Артподготовка кончилась, должен начаться бой, но все-таки можно вылезти из песчаной норы, пахнувшей мертвечиной.

Траншея сравнялась наполовину, песком засыпало наши мины и "лягушку". Мы стали спешно чистить и приводить все в порядок.

– Братцы, – донесся жалобный голос со стороны пулеметчиков, – братцы, вынесите меня, братцы! Носилки-то возле землянки...

Никто не внял несчастному, выставившему ноги под мины из укрытия, никто не побежал за приготовленными носилками...

Внезапно перед нами вырос в своей черной форме старшина – его полубритая голова с чубчиком была не покрыта, широкое курносое лицо орало большим ртом какие-то команды. Вот он заметил нас и стал распоряжаться нашим минометом. Расставив ноги циркулем на покатые стенки траншеи, он обзирал поле боя и направлял ствол "лягушки" так, чтобы мины рвались среди немцев, которые нерешительно вылезали из окопов и прятались за камни.

Федор обтирал мины тряпкой, подавал мне, я отправлял мину хвостом вниз в ствол минометика, и мина, трахнув огнем, рванувшись, улетала вверх.

– Выше! Правее давай! Левее! – командовал старшина. – Давай, давай!.. Что? Мины кончились?! Ах, мать твою...

И старшина исчез, как появился, – переключил на других свой неумный боевой азарт.

Вдалеке, за немецкими траншеями, что-то заурчало; выглянув, я увидел осторожно ползущий к нам игрушечный танк приземисто-квадратной формы. "Тигр"!

Немцы стали появляться гуще, но больше слева от нас; длинноногие взводные расставили нас там цепочкой и вооружили ручными гранатами, похожими на бутылки.

На уроках военного дела мы бросали их, но то были алюминиевые болванки, а как надо вставлять настоящие запалы и браться за ручку, чтобы кольцо соскакивало и граната взрывалась у врага, – всей этой технике нас так и не обучили, а здесь нужна сноровка, иначе подорвешься сам.

И вот, когда немец подобрался и спрятался напротив меня за камень, я не выдержал и бросил в него свою гранату, не соображая, так ли бросаю, как надо. Едва успел я взять другую гранату из левой руки, как справа от меня что-то чмокнуло, и граната выскользнула из вдруг ослабшей руки и шлепнулась на землю.

Я ничего не почувствовал, но по руке потекло. Кровь! Пятна были и на бедре, и на правой ноге у колена. Вот так раз, выходит, я ранен. Только тут до меня дошло, что мой немец ответил мне своей легкой гранаткой – есть у них такие жестяные мячики на веревочках.

Освобожденный ранением от строя, я пошел к Васе Куршину. В ячейке, вполне целой, стоял Вася и спокойно стрелял из карабина. На мой вопрос он ответил, что свалил немцев штук двадцать пять или около того. Мне захотелось тоже выстрелить. "Бери, попробуй!" – протянул мне Вася винтовку, но моя правая рука даже не повернула затвора.

– Ну, ты совсем ничего не можешь – ранен, твое счастье, выбирайся отсюда! – сказал Вася Куршин, пожал мне левую руку и вернулся к своему делу.

За ротной землянкой, в которой сидел Корчагин, я остановился: впереди меня, нагнувшись, чуть не полз по мелкой после обстрела траншее какой-то раненый, и, как только добрался до поворота, что-то сверкнуло, и его – как не было.

Деваться некуда, – я пошел тем же путем; на повороте дымился кусок скрученного мяса. У второго поворота в землянке сидели связисты и раненые. Связь прервана, впереди, скорее всего – немцы. Но раненым здесь нечего делать. Вооружились гранатами, пошли.

Нашу короткую разномастную с повязками цепочку обогнали длинноногие взводные. "За помощью!" – крикнули они нам, хотя мы их не спрашивали.

Не доходя до грязной траншеи, мы остановились: впереди, на другом конце траншеи, с холмов махали нам руками, зазывая, какие-то люди. Доносилась их нарочито громкая матерная ругань. Один, худощавый, был в очках, другие – краснорожие молодцы.

Сомневались мы недолго: немцы! Видно, перебили всех на КП полка и вышли оттуда нам в тыл. Куда податься? Длинные взводные свернули направо и исчезли. И мы, погрозив гранатами немцам, которые уже прикладывались стрелять по нам из автоматов, тоже пошли направо вниз, а потом к горе, где стояли артиллеристы.

Навстречу нам бежал растерянный лейтенант и кричал: "Ребята, у меня всех перебило, не бросайте, заверните ко мне!"

Никто из раненых не отозвался. Спустились к переправе через топь. Навстречу длинной цепочкой по деревянным лавам шагали молодые бравые автоматчики и на слова о немцах на КП полка кратко и сурово ответили: «Знаем!»

Боевая горячка, в которой не чувствуешь ни себя, ни ранений, ни боли, спала; мы дотащились до полевого санбата в большой серой палатке и, присев кто как прямо на землю, долго ждали каждой своей порции хлороформа...

Что было там, на Синявине, в тот день дальше? Узнал я об этом не сразу.

Не помню, как меня перевозили в госпиталь на Фонтанке – может, еще не отошел от наркоза. Но вот я лежу на столе, все три мои прорехи зашивает белокурая молоденькая женщина в белом халатике, морщась вместо меня от боли. А потом я засыпаю в чистой постели...

На другой день через койку от меня положили всего обмотанного бинтами человека, и, к моему удивлению, он за несколько суток освободился от повязок и оказался тем самым флотским старшиной, который командовал нашим минометиком.

Он рассказал, что "тигр" подошел к нашей позиции и стал жечь огнеметом – первой выжег землянку, в которой сидел Корчагин, потом принялся утюжить траншею. Старшина, весь иссеченный и исцарапанный, перекатился через бруствер в сторону наших артиллеристов, докатился до канавы и потерял сознание. Там его и нашли санитары, когда немцев отбили автоматчики.

Так кончились наши четыре дня Синявина. На пятый день – для других солдат – наступили следующие четыре дня, потом еще и еще и еще... "Мясорубка" продолжала скрежетать до полного освобождения Ленинграда, и тогда нас всех бросили вслед за отступающими немцами...

11–15 апреля 1991 г.